

◆ ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ◆



АЛЕКСЕЙ
ТОЛСТОЙ



Русский характер
Военные рассказы



МОСКВА

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Т52

Оформление серии *Н. Ярусовой*

Толстой, Алексей Николаевич.
Т52 Русский характер : военные рассказы / Алексей Толстой. — Москва : Эксмо, 2026. — 384 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-181189-1

В этой книге собраны рассказы, очерки, статьи и письма Алексея Николаевича Толстого (1883—1945) о войне и патриотизме. В центре сборника стоит цикл «Рассказы Ивана Сударева». Здесь нет абстрактных рассуждений. Автор описывает быт, характер своих героев, их мысли и диалоги. А главное — поступки. И с каждым таким отдельным штрихом перед читателем проявляется общая картина, которая впечатляет и масштабом, и смыслом. В 1943 году Толстой был участником первых открытых процессов над пособниками фашистских преступников и помогал в подготовке материалов для Международного военного трибунала в Нюрнберге. Не понаслышке знающий, что происходит на фронте, он мастерски показал, как проявляется русский характер в самых сложных ситуациях.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-181189-1

© Оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2026

Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила — человеческая красота.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

I

— Да-с, никогда не думал, никогда не думал; вдруг я — завоеватель! Писал себе этюды, готовил картину — что-нибудь весьма особенное — ни Пикассо, ни Матисс, ни Гоген, а тоже такое... Ах, какая чепуха все эти мои необыкновенные идеи... То меланхолия, бывало, заест, то проснусь ночью и смотрю на пустое полотно... и кажется, вот-вот-вот... а дойдешь до дела — ничего не выходит. Так что, я думаю, вся эта моя живопись была одной нервностью, а не искусством. Да и мы все таковы — возбуждаемся чрезвычайно быстро и легко, самыми только кончиками нервов; дальше, в глубину, ничего не идет, одни эти кончики-пупочки работают в мозгу, и происходит точно радужная игра на поверхности, точно нефть на реке. Да и не только живопись, не только искусство, вся жизнь — одни пятна нефти. Духа нет ни в чем, заключен он, закован, загнан в такую темноту, в такую глубину — дух, что я уже не знаю, какая нужна катастрофа, чтобы он поднялся до моего сознания. А эти радужные круги, мелочь вся, не нужны! Нет! Черт с ними! Знаете, мы выставку, например, устраиваем. И еще до открытия все насмерть перегрыземся, честное слово, а публика приходит на вернисаж свои туалеты показывать, а не смотреть на наше откровение. Я себя так понимаю — как лужа на асфальте; солнце светит, и в луже облака отражаются

и вся бесконечность, а подул ветер — и ничего, кроме лужи, нет, никакой бесконечности, так что я больше от барометра завишу, чем от Бога, честное слово.

Демьянов сжал рот и замолк на мгновение. Он сидел на войлочной подстилке между двух товарищей — офицеров. Сдвинув фуражку, подняв худое бритое лицо, он медленно мигал, охватив колени. Перед ним, сбоку высокого шоссе, на кочковатом поле горело множество небольших костров. Около них стояли, сидели, лежали солдаты. Вспыхивающее пламя выдвигало из темноты груженные двуколки, очертания коней, опустивших морды, составленные треножником ружья. Осенние звезды иногда тускнели, задернутые несущимся тонким, невидимым облаком тумана. Белый и плотный туман этот разлился по реке, пересекающей поле, сделал ее широкой и косматой. Было совсем тихо. Слышно, как хрустели лошади и бранился утомленный дневным переходом солдат.

— И вот представьте, я — завоеватель. Иду покорять страны, — продолжал Демьянов, — об этом я только читал в истории да в романах. Но мало ли что пишут, правда? А пошел я на войну не потому, что мне было приказано, и не потому, что ненавижу австрияков, и не потому, что мне нужна завоеванная страна. Я не знаю, для чего пошел, но меня точно ветер поднял. Да и не только меня — всех. Но я знаю одно — завоеватель должен чувствовать себя сильнее духом, чем те, кого идем покорять. Но когда начну думать об этом, получается страшный сумбур. С прошлым, со всем, что я делал до сегодняшнего дня, покончено. Вчерашнее мне не нужно, завтрашнего не знаю. А душа полна, страшно полна...

Офицер, лежащий справа, опираясь на локоть, протянул подошвы к догорающим углям, улыбнулся и проговорил:

— Знаете, а я никогда так не думаю, как вы. Мне ужасно нравятся звезды, костры, солдаты, туман...

— И Надежда Семеновна, — сказал второй офицер, он лежал позади Демьянова навзничь, подсунув ладони под затылок.

— Да, конечно, но это вовсе не причина того, отчего мне все нравится, — сейчас же ответил первый. — Надежда Семеновна — замечательная девушка, такой нет еще, она, понимаешь ли, совершенная... вот такая... — Не найдя слов, чтобы рассказать, какая Надежда Семеновна, он сел и затем ножами ударил по тускнеющим углям; они рассыпались, засияли, и несколько искр поднялось, полетело над сырой травой, погасло в воздухе.

После молчания лежащий офицер сказал:

— Разумеется, я навек счастлив, слушая ваши разговоры, господин прапорщик и господин подпоручик, но не угодно ли вам проверить сторожевое охранение. Смеем заметить, что мы уже не в России и завтра можем попасть в бой. Уходите к чертям с моей кошомки, я хочу спать.

Демьянов поднялся, оправил пояс, фуражку, поглядел на угли и пошел мимо костров в темное поле, где, если пригнуться, можно различить на еще не погасшей заревом полоске одинокие фигуры часовых. Из тумана над речонкой кричал коростель.

— Ах, как хорошо кричит, — проговорил Демьянов; и давешнее смятение словно образовалось в теплый шар, подкатилось к сердцу. — Ах, как хорошо кричит, — повторил он.

Сторожевые стояли в порядке. Никто не спал. За последние дни перехода по завоеванной земле солдаты были взволнованны: они много шутили, пели песни, а вечером на привалах слушали рассказы бывалых уже в деле вояк; приказания офицеров выполнялись с необычайной охотой и быстротой. Постояв, послушав, подумав бог знает о чем, Демьянов вернулся в лагерь.

Здесь спали почти все: кто завернувшись с головой в шинель, кто подложив под бок товарища для теплоты. Костры медленно угасали, протягивая по земле дымок.

Пробираясь между спящими, Демьянов услышал нешибкий и знакомый голос. Словно он слышал его когда-то очень давно, точно в детстве, под ометом соломы, в такую же звездную ночь. Так говорят мужики в особые и важные минуты: негромко, сурово, покачивая головой.

— Разве я теперь жену люблю? Есть жена, ребятишки — трое у меня, — так пусть и будут. А война, парень, — ты с ней не шути.

На это ответил ему другой голос, помоложе:

— Три недели ты, дядя Митрий, отбыл, значит, опять воевать?

— А то как же: кабы я за это дело не взялся, а то я взялся. Пуля в кости у меня сидит. Ну так что ж, все-таки я действую. А ты в первый раз идешь, тебе непонятно.

Первый голос замолк. Демьянов подошел к тлеющему костру. Перед ним, глядя из-под густых бровей на угли, сидел на коленках коренастый солдат с большой черной бородой. Фуражку он снял, и голый череп его белел в темноте. Другой солдат, широколицый, усатый, стоял, опершись на ружье.

Видя подходящего офицера, длиннобородый хотел было встать, но Демьянов остановил его и сказал:

— Послушать подошел, Аникин, что-то не спится.

— Послушайте, отчего не послушать, — ответил Дмитрий Аникин и опять уставился на угли, затем ладонью всей провел по лицу и бороде и сказал: «Малого учу: кабы нам бог войны не дал, ограбил бы нас. Народ стал не-серьезный. Чего не надо — боится, а больше по пустякам. Скука пошла в народе. Через эту скуку вот она и война. Теперь каждый человек понятие себе получит. Убийца будет такой же, как и праведник, а праведник пойдет по другой статье, потому что кровь — она цены не имеет. А у нас праведник на крови свой расчет полагал. Кровь — она как пыль, только глаза застилает. К ней надо привыкнуть. Умирать надо хорошо, как жить, а жить — как умирать. Вот я как это дело понимаю».

— У нас Митрий дюже на австрияка осерчал. Так уж развоевался — беда! — усмехаясь Демьянову, проговорил широколицый солдат. Он сказал это только для барина, который не должен и не мог понять настоящего разговора.

Но Дмитрий Аникин слишком уже далеко зашел в своих мыслях и не поддался на обычную зубоскальскую перемену разговора, а молвил еще серьезнее:

— Мне что австрияк, что немец — все одно. Мы этого не разбираем. А ты вот, парень, пойми, — народу у нас сила? Так? А все дураки: сами себя растеряли. Спроси: где живешь? «В России». А какая она, Россия? «Не знаю». Одну деревню свою знаешь, дурак, да бату с мамкой. Вот бог-то немца и замутил: «Навались да навались — они сами себя не понимают». Ведь это, парень, не шутка — на все государство он посягнул, немец. Вот нам разум-то и прояснило от этого. Очень теперь ясно стало. Отступай — не отступай, а ты, значит, вперед иди, и штыками тебя будут колоть, и пулей стрелять, а ты все иди, до самого синего океана. До берега океанского дойдешь, тогда войне во всем мире окончание. Так-то, барин, — неожиданно сказал Аникин, надел фуражку, поднялся и пошел к двуколкам, где пропал в темноте.

2

Полк поднялся на заре, закипятил котелки, но неожиданно был приказ выступать, и рота за ротой, взбираясь на откос, двинулись по шоссе. В луга, вперед и в стороны, словно щупальцы, побрели дозорные. Обоз, помещавшийся еще вчера между третьим и четвертым батальонами, был оставлен позади.

Демьянов шел в головной роте. Шинель его, туго перетянутая ремнем, намочла от росы и топорщилась. Он поднял воротник, надвинул фуражку и шагал в ногу с рябым и высоким солдатом, который, косясь на офицера, нет-нет да и приговаривал: «Эх, чайку-то не попили».

Солнце взошло, и свет его блестел по всему полю, по темно-зеленой траве, влажной, точно после дождя. Желтые, наполовину завядшие ивы были наклонены ровно направо и налево с обеих сторон дороги. Впереди в хрустальном воздухе стояли темные леса, за ними синели отроги гор.

Поглядывая на все это исподлобья, Демьянов морщился и фыркал. «Да перестань ты, пожалуйста, бормо-

тать», — обратился он к рябому солдату. Тот мигнул испуганно, поправил на плече винтовку и приотстал. Демьянов обернулся назад. За ним колыхались рыжие, русые, бородатые и усатые лица, в помятых картузах, спокойные и пыльные. Над ними топорщились штывки, и сплошная, страшно длинная эта колонна, лягушиного цвета, терялась далеко позади, заволакивая солнце облаком пыли.

Демьянову хотелось увидеть Аникина; он приостановился с края дороги. Аникин спокойно шел в накиннутой поверх мешка и винтовки шинели и жевал хлеб, откусывал его белыми зубами прямо от полкраюшки.

— Здравия желаю! — сказал он весело. — Не желаете ли хлебца отведать? У меня и луковка есть, сам было едва не съел; думаю: дай барина угощу.

Он отломил кусок хлеба со следами зубов, вытащил из кармана луковку и подал. Демьянов молча взял, глядя с удивлением на Аникина: ни вчерашнего важного голоса, ни сурово насупленных бровей не было у него; он хоть бы подмигнул, — виду не подал, а казался солдат как солдат, даже и с луковкой.

Вчерашние туманные слова его необычайно взволновали Демьянова: он почувствовал прикосновение к живой той силе, какую только мыслил повсюду; она была и в нем, но еще глухая и смутная. Он не спал ночь и думал, боится он смерти или нет? А если боится, то как станет ее встречать? «Кровь как пыль — глаза застилает», — повторял он, еще не сознавая, от какого света она застилает глаза. Обо всем этом он хотел спросить Аникина, и поэтому ему было неприятно глядеть на его белые зубы, жующие ржаной хлеб, на хитрые глаза, глуповатую усмешку.

— Погромыхивает, ваше благородие, хорошо потрескивает, — сказал Аникин, кивнув бородой в сторону лесов.

Демьянов, очнувшись, поглядел туда и действительно услышал ворчание, глухие раскаты, словно за синими лесами в голубых горах ворочался с боку на бок запоздавший осенний гром.

Все солдаты слушали теперь это ворчание. Пыльные, давеча ленивые, лица их стали суровыми и внимательными. Кто нес ружье вниз штыком, переложил его на правое плечо. Кто на ходу скатывал шинель; оправлял мешки за спиной; иные переговаривались, спрашивали; прищурясь, глядели туда. Сбоку шоссе подскакал ординарец-грузин, с выкаченными глазами, ловко одетый, и слишком громко закричал: «Приказано развертываться в резервную колонну!»

3

Развернутый в резервную колонну полк быстро двинулся влево от шоссе, чрез некошенные овсы, по гречихам и жнивьям, к лесу.

Демьянов необычайно легко, радуясь этой легкости, скользил ногами по траве, стараясь, чтобы никто его не обогнал. С такой же легкостью перепрыгивали его мысли с одного пустяка на другой. То он восхищался вдруг непромокаемыми своими сапогами, то засвистел вслед выскочившему зайцу, то, обертываясь и глядя на солдат, радостно думал: «Как хорошо, как хорошо, весело». И все радостнее, сильнее билось сердце. Он даже подумал, что надо бы его попридержать, — что-то уж слишком бьется.

Полк вошел в лес, чистый, высокий и редкий. Громовое ворчание пушек усилилось: вырывались из него отдельные двойные удары. Аникин каждый раз приговаривал: «Работай, работай, разговаривай». И странной казалась эта музыка пушек в лесу, будто гудели, мрачно разговаривали между собою вековые сосны, качая вершинами. Лес окончился, и рота вошла в деревеньку.

Соломенные домики были повернуты окнами во все стороны, огорожены ивами и плетнями. Поле отсюда поднималось тремя пологими волнами до гребня высоких и редких деревьев. За деревьями, между стволами, в синем небе лежали плотные облака, и оттуда-то доносились канонада.

Солдаты окружили колодец, заскрипели журавлем. К Демьянову подошел седой старичок, быстро заговорил, норовил поцеловать руку. Демьянов точно издалека заметил, что у него черные, печальные, как у собаки, глаза, а из-за бараньего воротника белой свитки высовывается жилистая, в крови, грязная шея; старик тыкал пальцем на деревья перед облаками, показывал на шею и все норовил поцеловать руку.

Этот синий обрыв за деревьями и низкие белые, спокойные, *как всегда*, облака оглушили Демьянова. Он полагал, что, выбежав из леса, увидит солдат, стреляющие пушки, битву; она представлялась простой, веселой и человеческой. Но невидимый грохот шел из-за облаков. «Что они там делают? — думал Демьянов. — Полнеба гремит, разве так можно! Куда же идти в такую пропасть?»

— Прапорщик, я вам в третий раз кричу: передайте ротному — продвинуться до деревьев, рассыпаться в цепь! — услышал он голос давешнего ординарца, поглядел в круглые глаза его и сказал:

— Сейчас сделаем.

Веселое возбуждение упало. Все мысли Демьянова застыли, как лед. Крича солдатам, он не слышал голоса, а быстро шагая с холма на холм, не чувствовал ног своих. Он поискал глазами Аникина и не нашел. Когда же деревья были в ста шагах всего, то побежал к ним рысью, задохнулся, оперся о шершавый ствол сосны и поглядел вниз.

Внизу, под обрывом, лежало ровное зеленое, исчерченное прямыми полосками поле; синеватым кольцом охватили его с трех сторон леса; за ними поднимались горы, и справа, слева и прямо ухали, били, раскатывались удары, но не было ни людей, ни дыма — ничего. Остальные роты полка взобрались на гребень левее Демьянова. Невдалеке появился всадник. Демьянов узнал в нем полковника, который долго глядел в бинокль, затем сказал что-то подъехавшему ординарцу, затем обернул голову, поднял руку и резко опустил ее. Сейчас же из-за деревьев

отделились фигуры солдат и посыпались вниз по всему склону.

Холодно стало Демьянову, схватило дыхание от восторга: он не мог молвить, вытащил шашку, стал лицом к солдатам, хотел сказать: «Братцы!» — но слезы едва не задушили его, только замахал шашкой и побежал вниз, прыгая через кусты.

4

Рота, в которой вторым офицером был Демьянов, вошла в бой. Ясно сознавали это немногие бывшие уже в деле солдаты. Поле казалось пустым, обыкновенным; давно скошенный клевер закурчавился и цвел в третий раз.

Солдаты добежали до первой канавы и легли в нее, оглядываясь, куда же нужно стрелять.

Демьянов присел на колени, вынул бинокль, но руки его так дрожали, что на мгновение только он увидел в запотевших стеклах танцующие деревья и три облачка над ними. Затем обернулся к лежащему рядом солдату и с трудом проговорил:

— Ты ничего не видишь?

— А вон она как пыхнула, шрапнель! — ответил солдат и оказался Аникиным.

«Как хорошо, что он со мной», — подумал Демьянов.

— Так ты говоришь, те облачка — шрапнель? Вот оно что!..

Действительно, мелькнувшие в бинокль три облачка появлялись теперь во множестве впереди над лесом. Сначала открывался в небе огонек, потом расплывалось плотное облачко, над ним — другое, повыше — третье, и они медленно таяли. Затем в воздухе появился стремительный шипящий звук.

— Завыла! Это непременно по нас, — сказал Аникин.

Демьянов оглянулся на него: он лежал на животе, выставив бороду; лицо было умное, внимательное и злое.

А шипенье в воздухе надвигалось, словно в лоб между глаз влетала невидимая гибель (Демьянов открыл рот и втянул голову), и тотчас шипение вонзилось в землю, неподалеку, разорвало весь воздух вокруг, полетели комья и поднялся черный косматый столб земли.

Демьянов вскочил и побежал к тому месту. Около развороченной ямы сидел солдат, плевал грязью и пальцами тер глаза.

— Запорошило меня всего, — ответил солдатик, — не вижу я ничего, чистое наказание! — И сейчас же слышалось второе шипение, и в той же канаве грохнул и поднялся столб.

Демьянов вернулся на место. Теперь он знал — по нем стреляли.

— Слушай, тебе страшно? Мне совсем не страшно, — сказал он Аникину, — как странно, правда? Я бы тут целый век пролежал.

— Ничего, ничего, успеете еще напужаться, — успокоил Аникин. — Прямо в нашу канаву шпарит, а где он притулился — поди разыщи!

Действительно, снаряды падали в канаву и перед ней, грохотом наполняли поле, пылью застилали глаза. Но никто еще не был ранен. С каждым разрывом возбуждение и радость сильнее охватывали Демьянова. Не хотелось двигаться — только слушать, ожидать. «Не боюсь, не боюсь, какое наслаждение!» — повторял он. Приказано было продвинуться вперед и налево. Солдаты стали перебегать по двое и поодиночке до следующей канавы, протянувшейся к овсяному полю. Но едва достигли ее, как вслед за грохотом гранаты послышался резкий и дикий крик.

«Ротного, ротного убило!» — заговорили солдаты. Демьянов, не пригибаясь, придерживая шашку, побежал туда. Ротный (вчерашний офицер, прогнавший его с кошмы) лежал на боку, выбросив руки. Трава около его головы (голову Демьянов не рассмотрел) была залита кровью. Демьянов присел над ним и, кусая губы, стал глядеть *туда*, вперед, откуда приносилась смерть.

Услышав крик минуту назад, он похолодел, съежился так, что стал меньше муравья. Затем, покуда бежал к убитому офицеру, которого любил, уважал и восхищался, он совсем забыл себя и опасность. Глядя на мертвые руки, бессильно и покорно лежащие на траве, он во второй раз сегодня едва сдержал слезы — теперь уже не восторга, а острой и мучительной жалости. И только решась, наконец, посмотреть на кровь, вдруг собрался весь, словно успокоился и постарел намного. Теперь, внимая звукам гранат, он опускал только голову, сжимал зубы. Давешний восторг беготни и острое затем наслаждение боя показались ему нестерпимо стыдными, точно он из шумной улицы вошел в иной мир — в пустынный, мрачный и торжественный храм.

Четыре роты подвигались по широкому полю от канавы до канавы (остальные батальоны ушли чрез овсяное поле и скрылись за лесом). Солдаты не видели противника и не знали, куда и зачем нужно идти. Не знал этого и Демьянов, принявший команду над ротой. Он помнил только приказ: пересечь поле и налево занять лес. Но что будет там, в лесу, он не понимал, и казалось, что этого никто не знает.

Всем, попавшим в сражение в первый раз, кажутся бессмысленными, беспорядочными, ни с чем не связанными действия своей части. Только потом начинают верить в руководство над всеми невидимой и умной силы. Эта сила действует на огромных пространствах, передвигает полки, дивизии и корпуса, перебрасывает через леса и горы десятки тысяч солдат и вместе с тем предоставляет каждому действовать так, будто от него зависят победа и поражение. Демьянову казались жуткими эти свобода и ответственность. От сознания его осталась малая, зато необычайно ясная часть, и она вся была направлена на то, чтобы как можно меньше потерять солдат, быстрее достигнуть леса, налево за овсяным полем.

Крайняя рота скрылась уже за деревьями, вторая перебежала в овсы, третья и демьяновская лежали, наскоро

окопавшись, в клевере. Теперь выстрелы и разрывы смешались в один рев; по всему полю поднимались косматые столбы земли, взвивался дым, и воздух и леса кругом грохотали тяжело и гулко.

Солдаты присмирели: кто кряхтел, кто беспокойно оглядывался, кто вдруг начинал с яростью стрелять в невидимого противника. Налево из овса поднимались фигуры, бежали, согнувшись, к лесу и вновь ложились. Иные выпрямлялись на бегу, поднимали руки и опрокидывались навзничь, кто головой вперед. Теперь над овсами возникло множество облачков. Они медленно надвигались с овсов к последней роте.

Демьянов понял, что если оставаться лежать не двигаясь, то через несколько минут вся его рота будет засыпана шрапнелью и погибнет, не достигнув леса. Он так и подумал: «Погибнет, не достигнув», и на мгновение почувствовал гордость, что рассуждает хладнокровно. Лес был всего в тысяче шагах. Демьянов пошел по рядам солдат, увидел черную бороду Аникина, ткнул его сапогом в подошву и закричал, нагнувшись:

— Если прямо нам до леса бежать, как ты думаешь?

Аникин посмотрел на него и ответил:

— Отчего же, можно и добежать.

— Только не через овес, а правее, вон в ту загогулину.

— Можно и в загогулину, — ответил Аникин, — только как бы нас там не того.

— Чего же может случиться?

— Кто их знает!.. Как бы на пулемет не налететь.

Но Демьянов уже вышел вперед, махнул рукой и рысью, отогнув полы шинели, побежал по полю. Затем, задохнувшись, стал, боясь оглянуться: он вдруг вспомнил, как убитый ротный в бывшую войну побежал вот так же впереди солдат, на полпути обернулся и увидел, что он один, — никто не последовал за ним, потому что поступок его был явно бессмысленный и ненужный. Демьянов ждал, не оборачиваясь, чувствуя, как густо краснеет.

Но вот позади послышалось сиплое дыхание. Справа, покаясь на него, пробежал рябой солдат; рот его был широко раскрыт, глаза налиты кровью. Слева выбежали еще двое; затем, степенно прихрамывая, протрусил Аникин. «Слава богу!» — подумал Демьянов. И сейчас же рябой солдат впереди подлетел на воздух и закутался облаком дыма и земли. Аникин и те двое кинулись влево, но выпрямились вновь (точно птицы после выстрела). Демьянов увидел яму и торчащие из нее ноги. «Это он чайку-то все хотел попить», — подумал он. Затем показалось странным, почему впереди только трое солдат. Он обернулся — поле было покрыто бегущими. «Ага, вся рота поднялась», — опять подумал он и вдруг споткнулся и только тогда сообразил, что бежит изо всей мочи. На опушке он остановился, прижался спиной к дереву. Подбегали солдаты, оглядываясь на упавших по пути.

На самом деле по всей огромной площади, занимаемой тремя корпусами Н-ной армии, происходило следующее: на севере — две дивизии брали станцию железной дороги; первый корпус двигался в обход с севера, чтобы одним своим появлением в тылу неприятеля заставить его очистить и станцию и господствующие высоты; остальные две дивизии второго корпуса должны были сдерживать натиск южнее станции; еще южнее дрался третий корпус; в его задачу входило опрокинуть противника и гнать его в таком направлении, чтобы линия австрийских войск повернулась, как вокруг оси, у станции на северо-запад и тылом своим, естественно, наткнулась бы на первый корпус. Полк, в котором служил Демьянов, не должен был атаковать или выбивать с места какую-нибудь неприятельскую часть, а только демонстративно продвигаться вблизи неприятеля, сначала с севера на юг, затем, по выполнении общего плана, — с юга на северо-запад.

Но ничего этого, конечно, не знали ни Демьянов, ни солдаты. Всем была ясна одна цель — отыскать неприятеля и заставить его убежать оттуда, где он засел.

Демьянову видны были только человек сорок, идущих сквозь лес. Остальные солдаты затерялись за деревьями. Солнце опустилось. В зеленом сумраке слышался треск сучьев, перекликанье и голоса. Вверху неподалеку раздался резкий, металлический визг, полетели ветки. Впереди деревья поредели. Демьянов приостановился посмотреть на карту. Человек пятнадцать перегнали его, выбежали на поляну, и сейчас же, заглушая все звуки, хлестнул, точно бичом, затрещал проворно впереди пулемет.

Демьянов только что видел пятнадцать человек в зеленых рубашках, в скатанных шинелях; теперь шестеро из них сидели за деревьями, держа ружья; остальных не было видно совсем. Позади громко стонали. Демьянов крикнул: «Ложись!» — и сел в папоротники. Шесть человек стреляли из-за деревьев; а *оттуда* под резкую, хлесткую стукотню неслись пули. Две из них чмокнули в клен над головой; валились сучки, и слышался шорох, свист, точно от пчел. Ясно, что ни подняться, ни продвинуться было нельзя, либо ждать темноты, либо неожиданной помощи.

Внезапно пулемет замолк, и сейчас же Демьянов услышал голос Аникина: «Свалил, ребята, одного, другой прячется» — и затем подряд еще три выстрела, и к ногам Демьянова прыгнул, как медведь, с дерева сам Аникин.

— Чисто! Пожалуйте! Можете пройтись, как на параде; их там только двое и было, — сказал он, показывая белые зубы.

Демьянов посмотрел на них, потом в глаза, — глаза были ясные и дикие.

Солдаты быстро поднимались, перебегая поляну, заглядывая на то место, где за кустиками между двух дубов, в ямке стоял пулемет. Вцепясь пальцами в его колеса, навалившись на зеленый ствол грудью, сидел над ним серенький человек, поджав по-турецки ноги; низко склоненная голова его покачивалась, точно он все время